

Ермилов В.

Чехов А. П. – М.: Советский писатель, 1954. – С. 122 – 126.

«Учитель»

Таков, например, герой рассказа «Учитель» (1886) Одна из характерных особенностей творчества Чехова — говорить о главном так, как будто оно неглавное. Речь идет как будто бы лишь о том, что учителю фабричной школы Федору Лукичу Сысоеву, больному чахоткой, осталось жить не более недели, но он не знает об этом и, как и в прошлые годы, присутствует на традиционном обеде, устраиваемом дирекцией фабрики ежегодно после экзаменов. На обеде присутствуют начальство, инспектор народных училищ, педагоги фабричной школы и других соседних школ. «Обеды, несмотря на свою официальность, выходили всегда длинные, веселые и вкусные; забыв чиновничество и памятью только о своих трудах праведных, учителя досыта наедались, дружно напивались, болтали до хрипоты и расходились поздно вечером, оглашая весь фабричный поселок пением и звуками поцелуев. Таких обедов Сысоев, сообразно числу лет, прослуженных им в фабричной школе, пережил тринадцать».

Но этот, четырнадцатый обед испорчен — Сысоевым, и вышел этот обед невеселым и недлинным. Сысоев придирается к своим коллегам, портит праздничное настроение. Ему кажется, что учитель соседней школы Ляпунов несправедливо экзаменовал его учеников; появившись на обеде, который начался без Сысоева: зная о его болезни, его не ждали, — он подошел к Ляпунову:

«— Это не по-товарищески! Да-с! Так порядочные люди не диктуют!

— Господи, вы все о том же! — сказал Ляпунов и поморщился. — Неужели вам не надоело?

— Да, все о том же! У меня Бабкин никогда ошибок не делал! Я знаю, почему вы так диктовали. Вам за это хотелось, чтобы мои ученики провалились и ваша школа показалась лучше моей. Я все понимаю!..

— Да что вы придираетесь? — огрызнулся Ляпунов. — Какого чорта вы ко мне пристааете?

— Будет, господа, — вмешался инспектор, делая плачущее лицо. — Ну, стоит ли из-за пустяков горячиться. Три ошибки... ни одной ошибки... ну не все ли это равно?

— Нет, не все равно. У меня Бабкин никогда ошибок не делал!

— Пристает! — продолжал Ляпунов, сердито фыркая. — Пользуется своим положением больного человека и всех поедом ест. Ну, я, батенька, не погляжу, что вы больной!»

Опять-таки мы встречаемся с удивительным чеховским умением поставить своего героя в исключительно невыгодное для него положение, представить его в явно неблагоприятном свете и все же вызвать к нему и симпатию, и нежную любовь. Тост, который произносит Сысоев, оказывается натянутым, учитель распространяется о том, что за 14 лет его службы было много интриг, подкопов и даже доносов на него и что он знает своих врагов и доносчиков, но не желает называть их «из боязни испортить кое-кому аппетит»... Словом, когда он кончил, «все легко вздохнули, как будто кто брызнул в воздух холодной водой и рассеял духоту».

Болезнь делает Сысоева человеком тяжелым, его присутствие — нетерпимым для окружающих. Но сквозь ЭТОТ образ просвечивает образ другого Сысоева, настоящего — облик истинного учителя, талантливого мастера своего дела, того Сысоева, каким он был всю свою жизнь. Речь заходит о фабричной школе, и вдруг все искренно, свободно начинают восторженно говорить о ней и о Сысоеве.

«— Я должен искренно сознаться, что ваша школа действительно необыкновенна, — сказал инспектор.— Не подумайте, что это фимиам. По крайней мере другой такой мне не приходилось встречать во всю жизнь. Я сидел у вас на экзамене и все время удивлялся... Чудо, что за дети! Много знают и бойко отвечают, и притом они у вас какие-то особенные, не-

запуганные, искренние... Заметно, что и вас любят, Федор Лукич. Вы педагог до мозга костей, вы, должно быть, родились учителем. Все данные в вас: и врожденное призвание, и многолетний опыт, и любовь к делу... Просто удивительно, сколько у вас при слабости здоровья энергии, знания дела... этой, понимаете ли, выдержки, уверенности! Правду сказал кто-то в училищном совете, что вы поэт в своем деле... Именно поэт!

И все обедавшие единодушно, как один человек, заговорили о необыкновенном таланте Сысоева. И точно плотина прорвалась: потекли искренние, восторженные речи, каких не говорит человек, когда его сдерживает расчетливая и осторожная трезвость. Были забыты и речь Сысоева, и его несносный характер, и злое, нехорошее выражение лица. Разговорились все, даже молчаливые и робкие, вновь назначенные учителя, убогие, забытые юноши, иначе не величавшие инспектора, как «ваше высокоблагородие». Ясно, что в своем кругу Сысоев был личностью замечательной.

Привыкший за 14 лет службы к успехам и похвалам, он равнодушно прислушивался к восторженному гулу своих почитателей».

Сентиментальный немец Бруни, директор фабрики, упивающийся похвалами, воздаваемыми учителю, счел необходимым вмешаться в этот хор и торжественно сообщить, что дирекция «умеет ценить» и что «семья Федора Лукича будет обеспечена и что на этот предмет месяц тому назад уже положен в банк капитал.

Сысоев вопросительно поглядел на немца, на товарищей, как бы недоумевая: почему будет обеспечена семья, а не он сам?» На всех лицах он прочел истину. И учитель заплакал.

Придя домой, он решил, что напрасно он «там разревелся». «У меня малокровие и катар желудка, а кашель у меня желудочный».

Нельзя не вспомнить о том, что сам Чехов тоже — в тот период его жизни, когда был написан «Учитель», и позже — точно такими же соображениями гнал от себя мысль о туберкулезе...

«Успокоившись на этом, он медленно разделся и долго чистил веничком свою черную пару, потом старательно сложил ее и запер в комод.

Потом он подошел к столу, где лежала стопка ученических тетрадей, и, выбрав тетрадь Бабкина, сел и погрузился в созерцание красивого детского почерка...

А в это время, пока он рассматривал диктант своих учеников, в соседней комнате сидел земский врач и шепотом говорил его жене, что не следовало бы отпускать на обед человека, которому осталось жить, по-видимому, не более недели».

Название рассказа точно соответствует содержанию. Мы чувствуем во всем облике героя именно учителя, мы ясно можем представить его в обращении с учениками, видим, каким высоким и единственным наслаждением всей его жизни является для него его учительство, мы верим тому, что он — поэт в своем педагогическом труде. И мы знаем также, что он вовсе не выдумывал, когда говорил в своей речи на обеде об интригах, подкопах и доносах (другое дело, что, видимо, незачем, бесполезно было говорить об этом на праздничном обеде): как, в самом деле, могло не быть подкопов, интриг, доносов, когда ученики у Сысоева — какие-то особенные, искренние, незапуганные? Речь идет о педагоге-новаторе, все приемы и принципы которого прямо противоположны господствовавшей рутине. Сколько сил ему нужно было положить, чтобы добиться признания, возможности работать, как он считал нужным! Сколько нужды пришлось вытерпеть, пока он получил сносное материальное положение. Об общем «стиле жизни» учителей ясно говорит маленький штрих: молодые учителя, робкие, забытые юноши, называют инспектора не иначе как «ваше высокоблагородие». Сравним с этим рассказ Чехова «На подводе» (1897) — о сельской учительнице, интеллигентной женщине, когда-то красивой и изящной, которая за годы своего учительства, «постарела, огрубела, стала некрасивой, угловатой, неловкой, точно ее налили свинцом, и всего она боится, и в присутствии члена управы или попечителя школы она встает, не осмеливается сесть и, когда говорит про кого-нибудь из них, то выражается почтительно: «они».

Много пришлось испытать и Сысоеву «на подводе» — на телеге его жизни, нажить чахотку, прежде чем добиться сносного — такого редкого для «народных учителей» в цар-

ской России — положения, и уважение, признание, которых он достиг трудом, совпало с последними днями его жизни. И, видимо, до тех пор, пока глаза не перестанут видеть, будет он с волнением изучать детские тетради, гордиться и печалиться за своих учеников.

Почему Чехов как будто «зашифровывает» свою любовь к своим героям? Почему ставит их в положение, не возвышающее, а как будто умаляющее их? Кирилов непривлекателен, сух, у Сысоева несносный характер, третий слишком мягок, четвертый груб, пятый чудаковат — и т. д. и т. п. Да, Чехов любил своих героев, «маленьких» людей, страстной, застенчиво-нежной и — пусть не покажется странным это слово — виноватой любовью. Никогда не покидало его чувство личной ответственности за их судьбу, за то, что он не может найти пути для улучшения их жизни. «Знаете, — говорил он Горькому, — когда я вижу учителя, — мне делается неловко перед ним и за его робость, и за то, что он плохо одет, мне кажется, что в этом убожестве учителя я сам чем-то виноват... серьезно!» За их робость, за неумение дать отпор, за то, что они не способны к большому активному действию, за то, что они не знают, что нужно делать для изменения действительности, — за все эти слабости своих героев Чехов чувствовал ответственным лично себя: да ведь эти черты в какой-то мере были присущи и ему самому. Придет другой великий писатель, выдвинутый армией маленьких великих людей и, прежде всего, героической армией русского рабочего класса, — и это будут люди, осознавшие себя за в т р а ш н и м и х о з я е в а м и ж и з н и , подобно Нилу или Павлу Власову. Чеховским героям далеко до такого сознания! Но они представляют как бы резерв той же армии, только еще не понявший своих целей, своей «общей идеи».